

СТРАНИЦЫ НОВЫХ КНИГ

ГОД НАЗАД народный поэт Башкирии, лауреат Государственной премии СССР Мустай Карим, делился с корреспондентом «Известий» творческими планами, сообщил, что работает над новой книгой прозы. «Трудно говорить о книге, которая только пишется», — сказал он тогда. — По замыслу это книга о детстве, но судьбы моего поколения так тесно переплелись с прекрасной и счастливой

судьбой Советской Башкирии, что я не смогу не рассказать о замечательных современниках, возводивших в труде, отстаивавших в бою здание той жизни, той любви, которой мы гордимся. К своей истории мы возвращаемся для того, чтобы утвердить настоящее».

Сегодня мы публикуем отрывок из новой книги выдающегося поэта, драматурга, писателя «Долгое, долгое детство».

ПОМНЮ, первая рука, которая поддержала и повела меня, была ее рука. Мы потом много ходили вместе, часто она вела меня вот так — за мою послушную руку своей мягкой и крепкой. Вот и сейчас мы, взявшись за руки, спешим вниз по улице. Люди, наверно, удивляются: «И куда они так спешат?». Когда бы спросили, я ответил: человека родить.

Мою Старшую мать все зовут повивальной бабкой, повитухой, а меня прозвали «повивальным дедом». Я маленький, я только еле-еле дотягиваюсь до кармана ее белого камзола. Это волшебный карман. Кусочек сахара, горстка изюма, пряничные крошки, сушеная черемуха, каленый горох — разные вкусные вещи то и дело возникают в нем.

Вот и сейчас, только сунул руку — две крупные урючки вкатились в горсть. Одну я тут же отправил за щеку. И буду теперь до вечера обкашивать. Вторую прячу в карман новых, надежных сегодня в первый раз штанов. Когда вернемся, эту урючку разделю между сестренкой и братишкой.

Мы идем к Черному Юмагулу на Нижнюю улицу. Его жена заболела на ребенка. Весть эту нам принес сам, бледный, как пепел, Черный Юмагул. Сказал и выбежал, не дожидаясь ответа.

И вот с урюком за щекой я рысцой бегу рядом с матерью. Подошли к воротам Черного Юмагула. Хозяин, который плел какую-то веревку перед клетью, бросил работу и побежал открывать ворота. Мать тут же направилась к дому. Теперь я уже должен буду сам о себе позаботиться. В дом мне хода нет, это давно известно. Коренастый, ладно сбитый Черный Юмагул, помаргивая узкими глазами под

припухшими веками, умоляет: — Пусть уж мальчик будет, уж пожалуйста, мать, первенец ведь, вовек не забуду.

Мать легонько похлопала его по спине.

— Ладно, коль выбирать придется, выберу мальчика. Ступай, займись делом, — сказала и исчезла в дверях.

Он идет к клетке и снова берется за свою веревку. Я взбираюсь на чурбан неподалеку от него, присраиваясь поудобнее. Держу я себя с достоинством, свое место знаю — я повивальной бабки сын. В мелочи не встречаю, у взрослых под ногами не путаюсь. Выбираю себе место по душе и сию, выдержку показываю. Потому и взрослые в доме, где ждут младенца, не решаются бросить мне: «Эй, мальчик!» — нет, называют полным именем.

Наконец решаю одарить Черного Юмагула словом.

— Что плетешь? — роняю я.

— Аркан. Когда плетешь — время быстро идет. Ни конца ему, ни края — плети и плети. Он немного помолчал и добавил:

— В хозяйстве, братишка, все на веревке держится.

А веревка правая! Без веревки попробуй пожить. Пораженный его словами, я молчу, молчит и Черный Юмагул. Поплетет немного и послушает, как там в доме, поплетет и опять. Я уже начал изнывать.

— Когда аркан-то доплетешь?

— Да поплету еще, покаду парень не родится...

— Ого! А вдруг не скоро!

— Родится. А лыка у меня целый воз.

— А зачем тебе такой длинный?

— Буду в клетке хранить. А как исполнится Хабибулле семнадцать, вручу ему.

— А зачем аркан, когда семнадцать исполнится?

— Зачем, говоришь? А вот послушай...

Узкие глаза Черного Юмагула вдруг широко раскрываются, и какой-то колдовской свет льется из них. Сначала он разливаясь по его широкому лицу, потом по аркану, и мне кажется, что не желтый лыковый аркан кольцами лежит на траве, а золотой луч легкой льется из глаз этого человека.

— Вот послушай... — повторяет Черный Юмагул. Голос его теперь совсем не пискливый, как давеча, он крепнет, поднимаясь из груди, гудит. Можно подумать, что он песню поет...

— Видишь, вон горизонт, — Черный Юмагул подбородком показывает вдаль, — а за этим горизонтом стоит высокая-высокая гора, Урал называется. На самой вершине горы растет черный дремучий лес, а в том лесу — круглая поляна, а на той поляне — круглое озеро. Озеро это — в семьдесят обхватов, а дна и вовсе нет. И в озере том — ни рыбы, ни какой другой живности — один только золотогривый с серебряными копытами конь Акбузат. Конь этот ветром веет, птицей взмывает, ожидаемое тобой приблизит, прошлое твое вернет, задуманное исполнит — вот какой это конь. В самую короткую ночь, в час, когда зацвечает орешник, когда с липы начинается капать мед и травы наливаются соком, разрезав озерную гладь, полоща гривой, озаряется Акбузат. И покаду рассвет не забрезжит, никого не боясь, не остерегаясь, будет конь траву на поляне щипать. Изловчись ты нагнуть ему на шею аркан в

семьдесят обхватов длиной — твоим будет конь.

Такое дело под силу только джигиту, который днем звезды видит, ночью на зверя пойдет. За день — на месяц, за месяц — на год, вот как будет мой сын расти. И вот исполнит он через семнадцать, перекинется он через плечо аркан в семьдесят обхватов и пойдет за счастливым крылатым конем...

Я сию и тихонько завидую. Неплохо пошли дела у этого Хабибуллы! Сам еще не родился, а в дремучем лесу на берегу круглого озера уже пасется, пощипывая траву, Акбузат, его поджидает, и даже аркан для него сплетен.

Вот он, золотом блестит в лучах закатного солнца. Ровно через семнадцать лет захлестнется он вокруг шеи волшебного коня. И Хабибулла, который скоро родится, вдруг предстает передо мной золотоволосым могучим богатырем. Вот кого мы тут дождемся!

Закончив на этом рассказ, Черный Юмагул вроде бы принулил.

СПУСКАЛИСЬ сумерки, как водная гладь, застыла тихая синева. Я опять унесся в мечтах к тому озеру. Не это, еще не родившийся Хабибулла, а я сам сию на берегу с арканом в руках. Сейчас покажется

Мустай КАРИМ

МОСТЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ

из воды красивая голова коня. Да вот он, уже вынырнул и, разметав гриву, громко-громко заржал!

— Родился! — Черный Юмагул даже присел немножко. — Родился! Мой сын родился!

Он прынул было к дому, но резко остановился и повернул обратно. Подбежал к клетке и с жаром принялся плести. Даже глаз за руками не поспеивает. Покуда повитуха с суюнчей — радостной вестью — не придет, ему положено степенно ждать, но, видно, очень уж нестерпимо.

Я, свесив ноги, спокойно сию на чурбаке. Что пользы в пустой суетне? Придут, скажут. Коли родился, ясное дело, обратно не уйдет. Но почему все же не идет мать? Во мне тоже шевельнулась тревога. Испуганные глаза Юмагула совсем ушли под веки. Он бросил работу. Вздохнул. И красивая поляна, и озеро на той поляне, и конь на берегу уже уплыли куда-то в сумерки. Извивающаяся по траве золотая лента опять становится скучным лыковым арканом. Я боюсь даже взглянуть в сторону дома...

Крик, еще звонче первого, вырвался на улицу. Черный Юмагул вздрогнул. У меня по жилам пробежало что-то теплое.

На крыльце появляется мать.

— Суюнче, Юмагул! — говорит она.

Тот в мгновение ока очутился перед ней, встал на колени.

— Кто?!

— Два сына.

— Двое? Сразу? Почему двое?

А второго как зовут?

— Эх, глупый, двое желуще, чем один. А имя ты, наверно, подберешь.

— Да, да, лучше, двое лучше...

Найдем имя. Аллах акбар! — Он прямо на коленях шепчет благодарственную молитву. — За добрую весть, мать, тебе одну овцу. Нет, две овцы!

— Ошале! Воистину у тощей лошади кишка широка...

— Дай бог, чтобы сыновья твои явились в этот мир себе на радость и счастье, вам во благо.

Ну, ребенок родился, и думаете, дело уже кончено, заберут эти двое барашка-суюнче и отправятся домой. Ан нет. Все почести да угощения, положенные нам, только теперь-то и начинаются.

В дом, где родился младенец, со следующего утра сватьяшки да тетушки, кумушки-соседушки начинают стекаться с яствами.

Самовар с утра до вечера со стола не сходит. На самом почетном месте на пуховой подушке сидит повивальная бабушка, рядом с ней — кто, вы думаете? Я. Целую неделю там сидим и даже больше. Отменная, надо признать, жизнь, но есть один изъян. Бани. Каждый день в честь малыша баню топят. А мать дня не пропустит, уже когда все вымоются, меня ведет, мылом моет, венником хлещет. Говорит, расти большой. Трудно, конечно, но терплю. Зато за одну напасть — сто удовольствий. После бани мы опять усаживаемся во главе стола и в поту, в истоме, в радости-удовольствии с медом-сахаром чай пьем.

Завтра я у Черного Юмагула самое почетное место буду. А пока дали мне ковшик молока, ломоть хлеба да на полу клетке сплю уложили. Ничего, за одну зиму, говорят, и заячья шкурка не изнашивается. Одну-то ночь перетерплю. А с утра — новая жизнь начнется.

Маленькие дети, понятно, не каждый день на свет появляются, чаще идут дни порожние. Нечаянные задержки в этом деле — сплошь и рядом. В такие дни я играю со своими сверстниками, вдоволь, досыта. Только ведь игра тоже придется. И я начинаю томиться. Опять хочется слышать, как новорожденный — сам себе глашатай — криком возвещает о своем прибытии, наблюдать со стороны, что вытворяет рехнувшийся от радости отец, хочу видеть, как, недавно изможденное, разглаживается и светлеет лицо женщины.

Однажды сквозь щелку в занавеске я увидел, как молодая мать в первый раз кормила ребенка. Только лишь это красное, еще слепое существо коснулось губами алого соска, бледное измученное лицо матери озарилось светом, и они оба вместе с пуховой периной поднялись в небо, перина стала облаком, и в том облаке, в блаженстве поплыли двое — мать и дитя. Почему так, когда тебе очень хорошо, ты или плывешь, или летаешь? Тут я испугался: вдруг они от моего взгляда на землю свалились, — и, крепко закружившись, отошел от занавески.

На случай, если в ауле долго никто не рождается, есть у меня хорошее средство. Но прибегая к нему только в крайнем случае, когда уже всякому терпению иссякнут вполю.

Растет в нашем огороде куст орешника. А дерево это у нас считается волшебным. Если в самую полночь, когда на краткий миг расцветает оно, успеешь сорвать цветок, если хватит духа по своей ладони острой бритвой полоснуть, если засунешь под кожу цветок — станешь невидимым. Иди, куда хочешь, — никому тебя не удержат.

Позднее, когда прибыло немного в руках силы, в сердце смелости, сколько летних темных ночей просидел я с острой отцовской бритвой под этим орешником! Я уже знал, что буду делать, когда стану невидимкой: всю поудязию изничтожу, весь их роду род с земного шара соскребу и освобожу всех угнетенных, всех рабов.

Как орешник цветет, я так и не увидел. Но и потом, и сейчас, когда пепел годов обсыпал мои черные прежде волосы, я верил, верю и буду верить, что раз в году в глухую полночь темный орешник покрывается яркими цветами. И без этой веры потеряет моя жизнь что-то...

Пока же — ни храбрости одному ночью в огороде сидеть, ни силы весь буржуйский род изничтожить у меня нет. Есть только маленький розовый язычок — выпрашивать желаемое. Я становлюсь перед орешником на колени. Это чудесное дерево, должно быть, понимает и мой язычок, и божий. И потому, вздев руки, через него говорю прямо тому, который наверху. Как с ним говорить, я от матери давно усвоил. Главное — знай нахваливай, тут не переборщишь, он это любит.

— О господи! — говорю я. — Все надежды наши в тебе, все чаяния. Пусть же волей твоей еще и еще рождаются дети.

Господь бог хоть на лесть и падок, но слово свое держит, это надо признать. Два дня, от силы три — и в каком-нибудь конце аула появляется на свет мальчик или девочка.

Вот так и шло, ладно-справно, душа — в благодати, язычок — в сладости, чем не жизнь?

И надо же было — такую жизнь испортить! А все эти мальчишки. Начали дразнить: «повивальный дед» да «повивальный дед». Ну и что? Я и ухом не повел. Подумаешь, меня и дома старшие братья в шутку так зовут.

Но потом пошло такое, что больно ударило по моему самолюбию. Сначала эти злые ребята «повивального деду» превратили в «деда-повитка». Стерпел. Мало им — «деда-повитка» укоротили просто в «повитка». Тот же стерпел. Но в один прекрасный день я превратился в... «пупка»! В глазах потемнело...

Я нос на улицу высунуть не мог. Только и слышу:

— Эй, Пупок!

— Ну, вкусные повивальные блины?.. Пупок-пупок!

— Эй, Пупок, покажи пупок!

Даже Длинноголовый Хаматъян, самый смиренный и послушный среди нас, и тот начал зубки показывать. Признаться, изрядно опостытели мне тогда мои друзья-товарищи, да и они ко мне порядком охладели.

Теперь — не то, что прежде. Реже я и с матерью хожу. Да и она не уговаривает, если я откажываюсь.

— Вот как ты взрослеешь... — говорит она и гладит меня по спине похлопывает, только меня так ласкает. Когда ее мягкая рука касается лица, я становлюсь совсем-совсем маленьким. Когда я вырасту, когда радости и муки первой любви будут сводить с ума, все будет так же: коснутся тонкие пальцы моего лица и снимут все горести, и снова я стану маленьким-маленьким...

Перевел с башкирского Илгиз Каримов.